

Горе тем, которые зло называют добром...
горькое почитают сладким...

Книга пророка Исаяи. 5:20

ДЕД И ВНУК

От автора

Когда умер Сталин, мне было два года. Тогда же вернулся с Сахалина мой дед. Первый раз он побывал там, на царской каторге, как дуэлянт. «Его даже на расстрел водили!» — с осуждением сообщала позже мне, повзрослевшему, мама.

Для побега с каторги они с другом, чеченцем Мангаевым, украли шхуну. Ели сырое мясо акул. Шхуна оказалась дырявой и затонула где-то у Холмска. Правда или нет — не проверишь.

Когда я поступал в Холмское мореходное училище, по вечерам, на закате, выходил на пирс и подолгу вглядывался вдаль. Неужели я думал, что шхуна может возникнуть на горизонте? Как одинокий радист, я посылал сигналы во временное пространство, надеясь получить ответ.

Второй раз, уже в советские годы, деда сослали на остров как тайного агента Японии. И как анархиста армии Тряпицына. Яков со своей матросней сожгли дотла Николаевск-на-Амуре. Мой дедушка партизанил где-то поблизости. Спалили порт для того, чтобы он не достался захватчикам. С которыми дед, если верить органам НКВД, уже начал чего-то мутить.

Ну вот вам и первый оксюморон (см. объяснение в конце предисловия) из жизни моего легендарного деда. Он сам нещадно лупил японцев из берданки с борта кунгаса. А потом им же и «продался». Следователей НКВД он называл *энкаведами*. Факт дедовской борьбы с оккупантами энкаведы отрицали. Мол, умело маскируется, *сахала*. То есть беглец с Сахалина. Кунгас же, поясним, огромная просмоленная лодка. Туда входит не один центнер пойманной рыбы. «Живое серебро

лососей» — образно писал я, начинающий поэт и селькор, про кунгасы с рыбой в местной газете «Ленинское знамя».

А возрожденный Николаевск стал городком моего детства. Деревню, в которой я родился и вырос, основал мой дед, километрах в сорока от Николаевска.

Дед все-таки сбежал с каторги. На этот раз они пешком с Айтыком Мангаевым перешли талый лед Татарского пролива.

Отвоевав на Гражданской, дед организовал рыболовецкую артель. Разумеется, она называлась «Буря». Было бы странно, если бы они с Айтыком назвали ее «Бриз» — это легкий ветерок.

Потом артель переименовали в «Ленинец». А могли бы ведь и «Сталинцем» наречь. Айтык в «Буре» работал счетоводом. Ловили горбушу и кету. У амурских лососей красная икра. Солили бочками.

И вот теперь я думаю: какие секреты могли продать мой дед и Айтык, артельщики, японцам? Начертить схему океанской пропасти, где из малька-сопельки вырастает лосось-гигант?! Узнав тайны глубин, милитаристы проложили бы маршруты для прохода подводных лодок к берегам Николаевска.

Но и тут осечка! Координат тучных пастбищ, где в тайне от всего мира кормятся лососи, до сих не определили даже гениальные ученые! Дед свободно читал по-немецки, но выдающимся ихтиологом он не был. Может, японские спецслужбы интересовали *терки*? Таежные урочища, где рыбы, поднявшись из морских бездн, продолжали род. Лососи проходили тысячи километров, чтобы отметать икру и погибнуть там, где родились. Как они находили путь назад?!

Мой дед, затейник, мог предложить своим очкастым «кураторам» из спецслужб: «А давайте пустим по следу горбуши специально обученных дельфинов-разведчиков!»

Однажды он раскрыл мне тайну возвращения амурской рыбы домой. Сюжет сродни библейскому возвращению блудного сына. Чем старше я становился, тем больше убеждался в справедливости пути, избранного серебристыми лососями.

Ну а деду тогда, конечно, припомнили все. И его гусарство в царской армии. И угнанную шхуну. И их с Яшей Тряпицыным неосуществленную мечту — Дальневосточную республику, которую они собирались строить отдельно от комиссаров. Успели даже выпустить собственные деньги. Сепаратисты.

Бумаги тогда не хватало. Червонцы отпечатали на лентах китайского шелка. Один мой друг, детский писатель Валера Шульжик, держал шелковые червонцы в своих руках. Они как-то дошелестели до хрущевских времен.

Валерий ходил тогда матросом на колесном пароходе «Карпенко» по Амгуни. В тех местах и повели на расстрел Якова Тряпицына с боевой подругой Ниной Лебедевой-Кияшко, яркой комиссаршей. Они были закованы в цепи. Якову исполнилось двадцать три года, Нина — на четвертом месяце беременности. «Если будет сын — назову его Яковом!» — крикнула она Тряпицыну в ночи, на прощанье. До последнего не верила, что революционные матросы ее расстреляют за предательство коммунистических идеалов.

У деда жизнь сложилась все-таки удачней. Если не считать фиолетового шрама на горле. Который он умело маскировал бородой.

Писателя Шульжика мы звали Шуль. Шуль говорил нам, слушателям литературного объединения:

«Настоящий матрос не плавает, а ходит. Плавать понятно что! В проруби». Нам, начинающим поэтам, было понятно. Образность последнего постулата, согласимся, сомнительна. Но точность формулировки безукоризненна. На Охотском побережье настоящих матросов, впрочем, как и авантюристов, до сих пор хватает.

А уж в прежние-то времена...

Деда обвинили в троцкизме. Да еще и КРД нахлобучили — контрреволюционную деятельность, направленную на подрыв экономики молодого государства. Пиратские *мару* японцев — шхуны — шныряли в водах Амурского лимана. Они интересовались исключительно красной икрой.

Был ли у моего деда тайный сговор с акулами капитализма? Знаменитая тогда пятьдесят восьмая статья УК расставила все точки над «и». Конкретно седьмой пункт: подрыв промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения и кооперации. Наказание до десяти лет исправительно-трудовых лагерей. Дед отсидел то ли четыре, то ли пять.

А потом его сослали. Другок Айтык, кстати, тоже загремел следом. Куда можно сослать с низовьев Амура дальше Сахалина? Только в Японию! О чем они, может быть, даже и мечтали. Если вспомнить про дырявую шхуну. О, как вкусно произносил дед слово *за кордон!* Словно виски закусывал икрой. Но не все мечты сбываются...

Я ничего не записал из его рассказов. Наверное, тогда еще был просто мал. Зато я запомнил, как он поет песню про Ворона. Он ее пел, трагично добавляя к словам букву «дэ»: «Ты не вейся, д-черный ворон, эх, над моею д-головой! Ты добычи не д-дождешься...» При волнении он слегка заикался. Мама плакала: «Зачем вы душу себе надрываете?!»

Дед отвечал, словно целился. Хищно прищуривая правый глаз: «Для хруста!» И добавлял непонятное: «Всем сестрам — по серьгам». Поразительно! Много лет спустя я узнал, что песню про ворона любил петь нарком и палач Ежов. Цитирую из книги «Сталин и его подручные» Дональда Рейфилда:

«И даже тогда, когда он заведовал круглосуточным террором, он любил, с прекрасной, прочувственной интонацией, петь песню о смертельно раненном солдате. «Черный ворон, что ж ты вьешься, да над моею головой!»

Палач и жертва любили одну и ту же песню. На царской каторге деда заковали в кандалы. На сталинской он был расконвоирован.

И вот вам второй оксюморон моего деда. Никаким врагом народа и японским шпионом он, конечно же, не был. Но никогда не жаловался на годы неволи и лишений. Никуда не обращался в поисках защиты от несправедливости.

Его реабилитацией занималась мама. Своего отца, да и мать тоже, она звала на вы. Когда я стал интересоваться историей, мама объяснила мне страшную правду про «сестер» и про «серьги». Дед считал, что всякий народ достоин своей власти.

То есть репрессии народ заслужил? Такая правда была потяжелее легенд про расстрел, червонцы на китайском шелке и про беременных комиссарш. Я не мог ее принять. Совсем недавно прочитал в интервью с Александром Сокуровым:

«Уверенность, что какая-то политическая организация или конкретные люди виноваты в том, что происходило, и ответственны за тяжелые, необратимые последствия, очень распространена в России. И совсем не распространена мысль о том, что мы — та самая страна, где народ в большей степени отвечает за все, что творилось с нами на нашей же территории...»

Я не согласен с Сокуровым. Но мой дед сказал то же самое гораздо раньше всемирно известного режиссера. Полвека прошло. Впрочем, еще одна деталь. Существенная. Был такой пророк, Исайя, который персидского царя Кира назвал помазанником божьим. Восьмой век до нашей эры. Исайя первым заявил, что всякий народ заслуживает ту власть, которая над ним. Другое высказывание пророка, не менее важное, взято эпиграфом к этому роману.

Что я помню еще? Дед сидел в белой рубашке, с отложным воротником апаш, в хромовых сапогах и полувоенных брюках-галифе. Он ласково называл их *гали*. Улыбался. Перед ним на столе стоял лафитник. Водку он пил исключительно из

хрустального графина. А в хрустальной же вазочке горкой лежала икра. Присыпанная сверху луком. У нас говорили: «Для хруста!»

На Нижнем Амуре красной икры много. Как, скажем, ягоды-морошки на Шантарских островах. Или как картошки под Воронежем. Картошка и морошка — рифма здесь случайна. Хотя, как оказалось, многое в жизни кем-то рифмуется. Узнать бы — кем?!

Дед-анархист, пророк Исая и режиссер Сокуров. Чем вам не рифма?

Мои внуки давно уже не мальки. И они ничего не знают о том времени.

Да и мне кто-то подсказывает — пора возвращаться.

Узнать бы — кто?!

Пропасти океана, как и тучные пастбища, чреватые перееданием. Пользуясь стилистикой настоящих матросов — обжорством. Жаль, что понимаешь это поздно. Когда утром завтракаешь таблетками. Тут главное не пропасть в безднах океана и не упустить точку возврата. Другой мой друг, легендарный журналист Геннадий Бочаров, как-то поделился под рюмку:

«Раньше мы жили хорошо. Теперь живем отлично! Ты не знаешь, почему все время хочется туда, где было просто хорошо?» Люди как лососи. Умеют возвращаться. Мы закусывали с Бочаровым красной икрой. Я присыпал ее, как и положено, сверху лучком.

Форма документально-художественного киноромана избрана по единственной причине. Клиповое сознание нового поколения не приемлет прозаических длиннот. Дело не в заигрывании с новой братвой из фейсбука. В каждом времени свои анархисты и свои гаджеты. Социальные сети в России превратились в одну огромную прорубь. Не знаю, можно ли пулемет «Максим» считать гаджетом?

Дело в желании быть понятым молодыми.

Недавно я рассматривал последнюю фотографию своего деда, Кирилла Ершова, — дважды ээка России. Я обнаружил у него на лбу, между бровями, жесткую складку, похожую на шрам. Ее называют в народе морщиной гнева. Может, его ранило на Гражданской?

Удивительное дело! Точно такая же складка залегла и у меня на лбу. А ведь на дуэли я не дрался. Меня не вели на расстрел. Не ссылали, как врага народа, на Сахалин. Да и вообще акульего мяса я не люблю и пою другие песни. Я хочу, чтобы сейчас их услышали мои внуки. И вы, мой д-дед. Двойная «д» здесь, я полагаю, понятно для чего? Она исключительно для хруста. Оксюморон же, кто запомнил, сочетание несочетаемого. Например, горячий снег. Или свободный зэк. Зэк не может быть свободным.

Но, когда он уходит в побег, снег под его ногами — горячий.

МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ КУСТ

песня

Я увидел во сне можжевеловый куст,
Я услышал вдали металлический хруст,
Аметистовых ягод услышал я звон,
И во сне, в тишине, мне понравился он.

Я почувал сквозь сон легкий запах смолы.
Отогнув невысокие эти стволы,
Я заметил во мраке древесных ветвей
Чуть живое подобье улыбки твоей.

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,
Легкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!

В золотых небесах за окошком моим
Облака проплывают одно за другим,
Облетевший мой садик безжизнен и пуст...
Да простит тебя бог, можжевеловый куст!

Николай Заболоцкий

ЧТО ПОЁШЬ — В ТО И ВЕРИШЬ

Пролог

Поэт Николай Заболоцкий начинал свой лагерный путь под Комсомольском-на-Амуре, в поселке Старт. В некоторых воспоминаниях почему-то Штарт. Наверное, рассказчик, уже без зубов, шепелявил.

Заболоцкий сидел на знаменитой стройке 500. Так называли строительство Байкало-Амурской магистрали от Комсомольска до Советской Гавани. Здесь география страны заканчивалась. Край света. Рядом только порт Ванино, знаменитая тюрьма-пересылка. Эки пели: «Я помню тот Ванинский порт, и шум пароходов угрюмый, когда мы спускались на борт в холодные, мрачные трюмы».

Сортировка дьявола.

Отсюда дорога вела на Колыму. То есть, в могилу.

Есть такое выражение, его все знают: свет в конце тоннеля.

Оно означает надежду. А тут получалось наоборот.

В конце света они строили свой тоннель.

Надежда не покидала их!

Здесь и развернутся события нашего киноромана.

Строго говоря, Дуссе-Алинский тоннель географически не попадает в отрезок от Комсомольска до Совгавани. Он за Ургалом. Отсюда до Города юности, как называли Комсомольск добровольцы — а были и они, еще топать и топать.

Тоннель начинали рыть эки Бурлага — Буреинского лагеря, потом его передали в Амурлаг. Управление базировалось в городке Свободном. Только представьте! Тяжелые шаги по коридору, воронок, камера, допросы...

Москва-сортировочная, а потом — раз! И ты в Свободном. Многие воспоминания дуссе-алинских эзков начинаются с этого городка в Амурской области. Там созревали гроздья лагерных пунктов, которые щедрой рукой генерал Френкель, командир БАМЛАГа, разбрасывал вдоль всей магистрали.

Какое-то время тоннельщики подчинялись управлению стройки 500. Бамлаг в те годы подвергся не одной реформации. В памяти заключенных Дуссе-Алинь остается не Амурлагом и даже не БАМом. А стройкой 500.

Так мы его и будем впредь называть в нашем повествовании.

Заболоцкий четыре года слышал звон костылей, забиваемых в шпалы, металлический хруст щебенки под колесами тачек, лай сторожевых псов и крик начкара... «Вы поступаете в распоряжение конвоя!»

Молитва начальника караула.

Вот как назывался утренний крик начкара.

Скоро и вы услышите металлический хруст. И почувствуете запах смолы.

А пока вы слышите музыку и пение. Большой академический хор исполняет «Можжевельный куст» на стихи Николая Заболоцкого. Не лирический романс про разлуку с любимой звучит, а трагическая оратория. Песня-пролог.

Ее словам мы придаем в киноромане особое значение. Услышать вдали металлический хруст. Увидеть во мраке ветвей *чуть живое подобье улыбки твоей...* Наконец, отгубать *невысокие эти стволы*. Заболоцкий нашел свои образы для «Можжевельного куста» в последние годы своей жизни.

Стихотворение написано в 1957 году, Заболоцкий ушел в октябре 1958-го. Можжевельник он встретил у Крымской тропы, где гулял с женой Катенькой накануне их разлуки. И аметисты дарил уже не супруге, которая уходила от него на долгие два года к писателю Василию Гроссману. А совсем другой женщине, Наталье Роскиной.

За простыми и бесхитростными строчками нам видится другое. Металлический хруст нельзя услышать в заснеженном Переделкино. Он, как и мрак ветвей, приходил к Заболоцкому в снах-воспоминаниях.

Металлический хруст щеколды на воротах лагеря. Металлический хруст щебенки, когда на нее укладывают стальные рельсы. Мрак хвойных веток тайги, укрытой дождями и туманами долгой осени.

А можжевельный куст — это зашифрованный тундровый стланик на гольцах Дуссе-Алиньского перевала.

Он запрещал говорить при нем о сталинском поселке Старт.

В некоторых воспоминаниях — Штарт.

И сам ничего не рассказывал.

Боялся. Но не мог запретить себе помнить.

Стихотворение Николая Заболоцкого про можжевельный куст — эзковская молитва перед тем, как уйти навсегда. Никого и ни в чем не упрекая.

Уйти в вечность. Да простит меня бог, можжевельный куст!

Играет симфонический оркестр. Звучание мощное. Холодок, тот самый, тревожащий еще с тридцатых годов, бежит за ворот. Первые две начальные строки каждого куплета исполняет солист. Это ээк. С лицом падшего ангела. В полосатой робе, он стоит перед хором, на фоне черных фраков и белых манишек.

Ээки в полосатом отбывали свой срок в лагерях особого режима.

Его голос пронзительно чист. И мы вдруг понимаем — по выражению лица, по напевности его вокала, — что перед нами кастрат. Или...

Он женоподобен.

Ээк театрально отставляет ногу в стоптанном башмаке, картинно заламывает руки у груди. Серые волосы его, причесанные на пробор, набриолиненны, щеки припудрены, губы подкрашены помадой. Шут гороховый! Арлекин, Пьеро с белой маской вместо лица...

Но почему нам так горько? Почему его так, до слез, жалко?!

Болезненное несоответствие невыразимо печального содержания и странной, если не сказать больше — уродливой, формы.

Дисгармония, распад, разрыв...

Укол смертоносной иглы.

Никакой толерантности мы здесь не чувствуем.

На лице солиста отчаяние и обреченность.

Оператору и режиссеру придется изрядно потрудиться, чтобы точно передать глубину страдания человека, прошедшего сталинские лагеря. И ставшего тем, кем он стал.

Впрочем, киношники, о! эти колдуны света и тени, шаманы деталей и нюансов, маги, наконец, перевоплощений, не нуждаются в советах беллетриста. Тарковский и Феллини. Кончаловский и Сокуров. Они могли бы точно передать состояние божьей кары, настигшей певца в полосатой робе. Насильно нельзя изменить природу человека.

Только бог может позволить себе сделать это.

А еще на память здесь приходят Босх и Брейгель.

Вот чьи сюжеты угадываются нами в трагическом пении хора на сцене.

Перед эком на поупитре ноты. Он поет по нотам.

Он слегка похож на Козина. Мы понимаем, что в прошлом зэк — известный артист. Может быть, он даже служил в Большом театре.

Козин отбывал свой срок на Колыме.

И умер в Магадане.

Заключенных тогда называли по-разному. Сначала были просто л/с — лишенные свободы. А с 1934 года — ЗК, зэки. В документах писали через черточку — з/к. Горько шутили: забайкальские комсомольцы. Или заполярные. Даже встречалось название «зыки».

Мы же будем называть их так, как они называли сами себя. Зэки.

В хрущевские времена, когда наступило время развенчивания культа личности Сталина, почему-то принято было считать, что репрессиям подвергались лишь верные ленинцы и знатные коммунисты: комбриги, директора заводов, секретари обкомов и крайкомов партии. Это не так. Сидели все. Крестьяне, командармы, недобитые кулаки, инженеры, учителя, рабочие, поэты и красная профессура. Заключенные делились по категориям — уголовники, политические, повторники, суки... Политические сидели по знаменитой пятьдесят восьмой статье Уголовного Кодекса РСФСР.

Были среди сидельцев и *мужики*.

Они же черти и лохи. Обыкновенные работяги.

Такие, как Иван Денисович из бессмертного рассказа Солженицына.

А еще *накупть* — аристократы ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей).

В свою очередь, уголовники делились на касты.

Паханы, полнота, порчаки, мастевые, урки... Потом шли общие, для урок и политических, подкасты: придурки, бакланы, шныри, фитили, доходяги.

Впрочем, доходяга и фитиль почти одно и то же. Фитиль догорает.

Доходяга ищет свою последнюю корку хлеба на лагерной помойке.

Осип Мандельштам был доходягой. Язык не поворачивается так называть великого поэта. На Третьей Речке, под Владивостоком, Мандельштам погиб от болезней и голода. В пересыльном лагере.

А Николай Заболоцкий *придурялся* чертежником.

Нам не один раз придется обращаться к языку сидельцев. Кинороману необходим речевой фон той эпохи. Постараемся не особо, правда, вдаваться в подробности лагерного сленга. Зависимостью фонем от морфем занимался, как известно, Иосиф Виссарионович. Названный в известной песне большим ученым. У него на все хватало времени. И расстрельные списки подписывать, и критиковать академика Марра, идеалиста языкознания, и Платона читать.

В подлиннике.

Сами лагеря назывались по-разному: Степлаг, Карлаг, СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения, БАМЛАГ.

Все они объединялись понятием ГУЛАГ.

ГУЛАГ — Главное управление лагерей. БАМЛАГ, о котором пойдет речь в киноромане, мы будем привычно называть Бамлагом. Писать не как аббревиатуру, а как слово. Но с большой буквы.

Как того потребовала орфография новых языкознанцев.

По ходу повествования мы выделим жаргон и понятия уголовного мира курсивом.

Курсивом же будут набраны все подлинные документы, которые нам придется цитировать в киноромане.

Мат и брань не будут использованы. Может, только в двух-трех случаях. Когда жизнь станет сильнее внутренней цензуры автора и выше теории языкознания академика Марра. Один случай — тот, когда в женском лагере на Акуре, тоже стройка 500, у кормящих матерей-зэчек *вохряки* станут выхватывать из рук младенцев.

Знайτε заранее.

Да, ну а почему все-таки хор?! Какое коллективное пение под оркестр, если ночью от мороза волосы примерзают к нарам? А днем от цинги выпадают зубы. Кровью харкают на снег зэки-тубики.

Какой вокал, если одной из пыток была пытка бессмысленным трудом: заключенных заставляли на сорокаградусном морозе часами переливать ведром воду из одной проруби в другую! До песен ли при такой жизни?!

Пусть знает читатель: в любом, самом захудалом лагерном пункте командир ставил задачу перед начальником КВЧ (культурно-воспитательной части):

— Обеспечить хор! Чтобы через месяц пели!

Зачем?! Изошренное издевательство особого рода?!

Точно ответил Солженицын: *«В первостепенном воспитательном значении именно хора политическое начальство (имеется в виду начальство лагерей. — Здесь и далее примечания мои. А. К.) убеждено суеверно. Остальная самодеятельность хоть захирей, но чтобы был хор! Песни легко проверить, все наши. А что поешь — в то и веришь»*. «Архипелаг ГУЛАГ».

Не забудем и про отдельную функцию хора в античной трагедии.

Время, про которое мы ведем речь, конечно, не античность. Оно было совсем недавно. Но трагедий в нем случилось не меньше. Наш фильм начнется с песни. Их будет немало в киноромане. Но это не значит, что страшное время мы собираемся принарядить в гламурные юбки мюзикла, или в водевильные шляпки оперетты. В фильме много тяжелой правды.

Нужно подготовиться к ней. Вам помогут это сделать:

Слова из книги пророка Осии.

Строки Евангелия от Матфея.

Стихи Анны Андреевны Ахматовой.

Сейчас они возникают на тяжелом бархате занавеса сцены.

Бархат темно-бордового цвета.

«ИБО Я МИЛОСТИ ХОЧУ, А НЕ ЖЕРТВЫ...

БОЛЕЕ, НЕЖЕЛИ ВСЕСОЖЖЕНИЙ».

Книга пророка Осии. 6:6

«ЕСЛИ БЫ ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО ЗНАЧИТ: МИЛОСТИ ХОЧУ,

А НЕ ЖЕРТВЫ, ТО НЕ ОСУДИЛИ БЫ НЕВИНОВНЫХ».

Евангелие от Матфея. 12:7

ГОРЬКУЮ ОБНОВУШКУ

ДРУГУ ШИЛА Я.

ЛЮБИТ, ЛЮБИТ КРОВУШКУ

РУССКАЯ ЗЕМЛЯ.

Анна Ахматова. «Не бывать тебе в живых», 1921 г.

НОЧЬ ЛЮБВИ

Первая серия

Ранняя весна 1956 года. Перевал Дуссе-Алинь.

Перед печкой-буржуйкой, в таежной займке, срубленной на левом склоне у восточного портала тоннеля, сидит на скамейке Костя Ярко. Он чистит пистолет-парабеллум, протирая ветошью каждую деталь. Вбивает в рукоятку обойму, загоняет один патрон в ствол. Не слышит сухого щелчка.

«Непорядок, — думает Костя, — надо бы флажок предохранителя проверить».

Костя высокий и плечистый малый. Ему, наверное, лет тридцать пять. Виски слегка тронула седина. И он чалдон. Так называют в здешних местах выходцев с Дона — казаков-переселенцев, чьи предки уходили от царя в Сибирь и на восток страны.

Давнее, тревожное время.

А сейчас оно не тревожное?

«Времена не выбирают. В них живут и умирают».

Написал поэт Александр Кушнер.

В отличие от Заболоцкого и Мандельштама, он не сидел в лагерях.

Но написал точно: «Что ни век, то век железный...»

Казаки не хотели подчиняться цареву указу. Убегали в Сибирь и на Дальний Восток, женились на местных красавицах. Якутках, тунгусках и эвенкийках, дочерях вождей таежных племен. Рождались дети с голубыми глазами и черными, как воронье крыло, волосами.

Они становились упрямыми и непокорными охотниками, рыбаками и землепашцами. Они все время шли встреч солнцу. Ярковы, Ермаковы, Панкратовы, Фокины... Умные и выносливые. Преданные роду. И снова у них рождались дети. С узкими уже глазами, широкими скулами и желтоватым цветом кожи.

Их дразнили: «Желтопупый чалдон!»

Так образовалась прослойка населения, которую прозвали чалдонами. Чалдон — человек с Дона. Наполовину он русский, наполовину — тунгус.

Тунгусами тогда считали всех туземцев-аборигенов. А ведь были еще в тех краях камчадалы и *сахалы*. Сахалы — с ударением на последнем слоге. Беглые каторжники с Камчатки и Сахалина. Они становились сплавщиками, золотоискателями, погонщиками собак. Каюрами.

Люди фарта, очень часто — разбойники и душегубы.

Да просто злодеи!

А чалдоны — те блюли православную веру, держали чистоту и порядок в домах. «Крыльцо блестит — чалдон живет!» Так про них говорили в селеньях по Ангаре, Буре, Амгуни и Амуру. По воскресеньям чалдоны всей семьей гоняли чай из медных самоваров. Ведро входило в такой самовар.

Менялись черты их лица, но не менялся уклад жизни.

Гордость чалдонов тоже не пропала в века.

Мы пока не знаем, чем занимается Костя Ярко. Сейчас он собирается в дорогу. Почистил пистолет, растопил печурку, чтобы вскипятить чай, обувает торбаза. Торбаза — меховые сапоги, сшитые из камуса, части шкуры с голени оленя.

Костя заваривает чай с лимонником. Лимонник растет у ручьев по склонам южных сопок. В здешних местах он большая редкость. Костя бережет каждую ягодку. Можно заварить горстку, а можно прямо с куста наломать красно-зеленых веток-лиан и сунуть в кипящий на походном костерке котелок. Кружка чая с ли-

монником — и легко идешь десять километров на широких лыжах по охотничьему путику с расставленными на соболя кулемками. Ловушки такие.

Холщовый мешочек с сушеным лимонником висит, подвешенный к центральной балке потолка. Камера подробно показывает убранство заимки. Закопченный чайник на плите, мутное и подслеповатое окошко, затянутое то ли рыбьим пузырем, то ли какой-то пленкой, напоминающей слюду. Явно не стекло.

На подоконнике лежат патроны с пыжами — рыжими, из войлока, и особая блесна. Эх, блесна-блесенка! Сам бы ловился на такую... Стальная пластинка, обшитая беличьей шкуркой. Называется мышь. На блесну-мышь в здешних горных реках ловят редкую рыбу тайменя. Ловят глубокой ночью, когда таймень играет на песах и хвостом глушит падающих в стремнину с берегов полевков и бурундуков.

В стык с подоконником небольшой, но крепкий стол. На нем стоит чалдонский самовар — медный, бликующий от языков пламени буржуйки. Достался в наследство от отца.

Невысокой стопкой сложены тетради. По виду школьные. В одной из них — той, что потолще и с коленкоровым переплетом, — Костя пишет то ли повесть, то ли воспоминания. О том, как он служил на стройке 500. В других, в косую линейку и в клеточку, ведет записи о глубине снега и перепадах температуры возле тоннеля. Еще недавно Костя Ярков учился на учителя. Историко-географический факультет Комсомольского-на-Амуре пединститута. Его открыли два года назад, в пятьдесят четвертом.

Отдельно стоит аккордеон с перламутровой отделкой.

Он трофейный, немецкий. Называется «Koch».

Аккордеон прикрыт вышитой салфеткой.

Вышивка — морской парусник.

Костя умеет играть на аккордеоне.

Под столом лежит лоток для промывки золота на таежных ручьях. Старатели его называют *батюра*. Лоток выдолблен из толстого ствола тополя.

В здешних местах на любой речке встретишь лепестки и тычинки золота. Старики говорят, что даже самородки попадают.

Костя не только любит писать воспоминания, играть на аккордеоне и измерять глубину снегов.

Еще он любит искать самородки.

Хотя это и не основное его занятие.

На столе лежит большая книга в кожаном переплете. Сразу видно, что редкое издание. Крупным планом, на весь экран, наплывает страница. Читаем:

«НКВД СССР. Управление по изысканиям и проектированию Байкало-Амурской ж-д. магистрали. Бампроект. Экземпляр № 24. Комсомольск-на-Амуре. 1945 год».

Как попала такая редкая книга в охотничью избушку, мы пока не знаем.

В центре первой страницы фолианта — глобус, на котором красной жилкой бьется новая трасса. И мы сразу осознаем ее важность не только для Советской страны, но и для всего земного шара.

Байкало-Амурская магистраль.

Так называется дорога, обозначенная на глобусе.

Кто-то переворачивает страницы. Кажется, что само время. На следующей, прямо в центре, надпись: «Автором проекта Байкало-Амурской железнодорожной магистрали является «БАМПРОЕКТ НКВД СССР». Набрано курсивом.

И сразу какое-то странное чувство охватывает нас.

Гордость перемешивается с тревогой.

Возникает нарезка кадров.

Мы видим, как загораются костры вдоль магистрали.

Пахнет гарью, тяжелой хвоей, лают сторожевые псы и слышна лагерная брань. Сержант-контролер в белом полушубке открывает ворота. Они покрыты инеем и тоскливо скрипят на ветру. Еще раннее утро, и потому темно. Крупные звезды на небе. Луч прожектора с вышки освещает ворота. Над верхней балкой, примотанный колючей проволокой, висит замерзший ээк. Он в полосатой телогрейке. В натуре — *жмур*.

В ногах у него фанерка с надписью: «Так ему и надо!»

Неудачно ушел в побег. Замерз на берегу звенкийской речки Аваха.

Что по-русски значит Черт. Еще незнакомая нам речка.

Она бьется, как в клетке, в каменном ущелье у Дуссе-Алиньского тоннеля.

Тело беглеца на жердине принесли в лагерь.

Руки-ноги связаны, продета палка.

Так носят добытого оленя охотники.

И, в назидание, примотали над воротами.

До весны и провисел. Пока не пошел тленом.

Так ему и надо...

Эх-эх!

Костя вздыхает, вороша в печке лучину вперемешку с берестой. Огонь лижет лучину, береста потрескивает и скручивается в огненные колечки. Мы видим руки Кости Яркова, он греет их у огня. На левой ладони, между большим и указательным пальцем, прямо в ложбинке, татуировка: Сталина.

Нет, не Сталин, а именно Сталина. Женское имя.

Хотя понятно, в честь кого Сталинами называли в те времена девчонок.

У Кости на заимке хорошая печка-буржуйка. Тяжелая. Она сварена из листовой стали, обложена круглыми валунами.

Гольцов и каменных осыпей здесь куда тебе с добром!

А на трубе задвижка.

Зимовуха не выступится.

Ведь обычно тепло улетает за пару часов из охотничьей заимки.

Печку Косте оставили военные дядьки. То ли изыскатели, то ли маркшейдеры. Они готовили Дуссе-Алиньский тоннель к консервации.

Уже какой по счету!

Начальник партии, капитан, сказал тогда Косте:

— В тепле будешь... Правда, тоннель такой буржуйкой не протопишь. Тебе придется разводить два костра, у Западного и Восточного порталов. Появится тяга, теплый воздух пойдет в тоннель. Даст бог, не зарастет льдом!

Предсказание капитана не сбудется. К началу семидесятых тоннель полностью зарастет льдом. Солдатики железнодорожных войск совершат подвиг — очистят тоннель. Тридцать три тысячи кубометров льда!

Но это когда еще будет!

А пока...

Пока Костя Ярков работает истопником Дуссе-Алиньского тоннеля. Рано утром он разводит костер у Восточного портала. Хворост, береста, бревна-*швырок* заготовлены с лета. Потом топает по шпалам — один километр восемьсот пятьдесят два метра. Такая, по документам, длина тоннеля. И на портале Западном, в сторону Солоней и Ургала, а если смотреть по карте еще выше, то в сторону Нимана и Йорика, разводит второй костер.

Йорик — горный ручей за Ердacom и Усть-Ниманом. По трассе от Чегдомына на Софийск. Есть Малый Йорик. И есть Большой. Йорик манит Костю. Там нашли много золота. Вот бы испробовать на ручье свое корытце, выдолбленное из тополя. Почему-то Костя точно знает, что на Большом Йорике его поджидает удача. Золотушники говорят — фарт.

Костя любит смаковать местные географические названия. Перебирает буквы во рту, как горный ручей перекатывает камешки-голыши. Йорик, Ердак, Иерохан, Алонка... Гора Джалогумен, тысяча триста метров над уровнем моря.

Все знакомо с детства.

И по-прежнему тянет туда, в эти загадочные точки на карте.

Костя прикрыл задвижку на трубе, сунул пистолет в удобный, специально пришитый под мышкой, брезентовый карман, похожий на кобуру. Подпоясал телогрейку офицерским ремнем и вышел из зимовья.

Петли на входной двери печально скрипнули.

Ржавый звук повис в густом воздухе.

От портала тоннеля поднимался туман.

«Надо бы смазать солидолом, — тревожно подумал Костя про двери, — нехорошо, когда петли так скрипят. Плохая примета. Вот вернусь и смажу. И предохранитель на пистолете проверю. Обязательно».

И тут же успокоил себя.

Сталина как говорила? Если деревья покрылись инеем, все будет сказочно!

Недалекие кусты закуржавели*, елки стояли с белыми кронами, словно принарядились в нарядные шали.

Оттепель обычно приходила перед метелью.

Костя пришел на заимку чуть больше года назад. Пришлось избушку ремонтировать. Заменял прогнившие доски крыльца, подоконники. Стекло в единственном окошке тоже было выбито. В одном из барачков лагеря нашел кусок слюдяной пленки, прибил ее гвоздями.

С ворот на вахте зоны снял запор-щеколду. Массивная пластина со шляпками заклепок, стальной штырь, входящий в круглые петли, и отдельно крючок, больше похожий на крюк. Щеколда и заклепки заржавели. Отмочил в керосине. Приладил на двери избушки.

Щеколда легко, с лязгом, закрывалась. Только пальцем тронь.

А потом подумал: зачем щеколда в тайге?

Мы сейчас хорошо видим лагерный запор.

Грубые шляпки с заусенцами, ржавчина, въевшаяся в пластину, сама щеколда с отполированной ручкой штыря.

Множество раз его открывали и закрывали.

Щеколда покрыта изморозью.

Когда Костя вернулся на Дуссе-Алинь и первый раз зашел в бараки, он был неприятно удивлен. Все сохранилось! Нары-вагонки, грубые столы, печки, обмазанные глиной и обложенные валунами. Кое-где, правда, по кирпичам побежали трещины. Лагерный пункт был готов к приему эков. Хотя после последней консервации тоннеля прошло уже почти три года. Вышки охранников по периметру стояли непокосившиеся, колючая проволока предзонника не провисла. А ведь строили в тридцать девятом, наспех. Но получилось основательно! Как на века. Косте даже показалось, что он слышит лай овчарок и молитву начкара на переходе

* *Закуржаветь* — покрыться инеем, заиндеветь (нар.-разг.).

в промышленную зону: «Внимание, заключенные! Вы поступаете в распоряжение конвоя... Шаг влево, шаг вправо...»

Костя из барака выскочил как ошпаренный. Хотя мог бы, на первое время, устроиться в каморке дневального. Там даже лампа керосиновая осталась стоять на тумбочке. Правда, фитиль, похожий на шагреновую кожу, съежился и засох. Почти окаменел.

Больше в барак он не возвращался. Единственное, что сделал, разобрал в своей избушке нары и перенес туда железную кровать из бригадирского отсека. А может, то был закуток дежурного по бараку. Начальство и начальнички помельче, придурки, устраивались в лагерях основательней эков. В комнатухах-пеналах, которые называли кабинками, на стенках висели лебеди и крымские ротонды, увитые плющом и виноградом. Картины рисовали на клеенках эки, умельцы и мастера на все руки. И пианисты среди них встречались, и цирковые, и литераторы.

А уж художников всегда хватало с избытком.

Костя привалил дверь своей зимовухи бревешком.

Охотничьи избушки в тайге не запирают.

На сотни верст в любую сторону ни души. А заимка в лесу на то она и заимка. Она примет и обогреет любого путника. Сбившегося в пути туриста, продрогшего охотника, беглого арестанта.

Заимка даст займы.

Охотник оставлял в избушке для других, проходящих следом, сухие дрова, спички, соль, сухари и мешочек муки.

Так было положено по таежному закону.

Правда, сейчас в тайге уже все по-другому. Вместо приземистой, словно вросшей в скалу, избушки можешь найти обгорелые бревна и пепелище. Пьяные туристы, в отсутствие фейерверка и петард, устраивали себе прощальный костер.

Но ни туриста, ни беглого эка в Дуссе-Алиньской тайге не встретишь. Лагеря давно позакрывали, а эки побросали свои тачки.

И ушли из барakov.

Напомним, что стоит холодная весна 1956 года.

Точнее — самый конец февраля.

Люди гражданские в поселках и *вольняшки* — вольнонаемные, что работали в системе Бамлага, часто путали понятие лагерь с лагерным пунктом. Костя давно это понял. Когда-то он работал в Амурском лагере. Управление квартировалось в Свободном, тогда еще поселке. Городом его назовут позже. Парадокс жестокого времени. Город Свободный — столица арестантского края. В ведении Амурского лагеря находилось не менее пяти десятков лагерных пунктов. Лагпункты как патроны в обойме. Тяжеленькая и ладная, обойма сама ложится в рукоятку пистолета. А рукоятка в ладонь. Оружие словно прирастает к руке. В обойме, подогнанные друг к другу, прижатые тугой пружиной, патроны. Готовые к выстрелу.

Тольконими предохранитель и нажми курок.

Еще отец говорил Косте:

«Знаешь, что самое удобное в мире? Оружие... Да хоть то же охотничье ружье возьми! Как будто растет из плеча. Так люди придумали».

Костя, когда уволился из органов и собирался поступать в институт, надежно спрятал свой парабеллум. На задах родительского огорода в Ургале. Смазал солидолом, обернул промасленной ветошью, туго запеленал брезентом и в железном ящичке закопал за баней.

Патроны хранились отдельно, на чердаке.

Почему-то знал Яркoв, что пистолет ему еще пригодится.

Не закончив первый курс, Костя институт бросил.

Студенческая вольница оказалась не для него, офицера, живущего долгие годы по приказу. Да и староват он был для института. Однокурсники — сосунки, которых он учил стрелять в осоавиахимовских кружках, и преподаватели-демагоги, уже не таясь, разглагольствовали о сталинских застенках, о лжетеориях в языкознании и обзывали Костю *вохряком*. А что плохого сделала ВОХРа? Она охраняла преступников и врагов народа. И вот вам, пожалуйста, — вохряк.

Костю, фронтовика и офицера, такое отношение к себе корбило. В отставку он ушел в звании капитана МВД. НКВД упразднили в марте 1946 года. Костя хорошо запомнил ту весну. Он вернулся с войны. Добивал в Прибалтике лесных братьев. Поступил на работу в Амурский лагерь, а потом в управление к начальнику Бамлага Френкелю. Тогда же встретил Сталину Goverдовскую, свою любимую. На Дуссе-Алине.

Встретил и потерял. За одну ночь.

Но зато какая это была ночь!

Сталину арестовали по подозрению в связях с японской разведкой и за антисоветскую пропаганду. Косте пришлось давать устные показания на Сталину. Иначе бы сам не выжил. Не вступил бы в ряды славных голубых фуражек. А погнали бы чалдона Костю Яркву по этапу.

А что для чалдона страшнее смерти?

Неволя...

В лагере Сталина родила ребенка — мальчика. Потом, рассказывали, ее досрочно освободили. А может, попала под амнистию. Сталин уже умер. Кто-то из общих знакомых по службе на стройке 500 сказал Косте, что мальчишка похож на него, Костю Яркова. Как две капли воды.

Эх, эх!

Домой, на Ургал, после первого курса возвращаться было стыдно. С фронта пришел героем-орденоносцем, и в лагере тоже не оплошал. Даже беглых эков доставал метким выстрелом. Имел благодарности генерала-лейтенанта Френкеля и Почетную грамоту за подписью самого генералиссимуса Сталина.

А в институте не смог справиться со сворой *сильно грамотных*. Злобных и коварных зверьков. Откуда только в наше советское время народились такие?! Девчонки-студентки были похожи на крикливых соек. Пацаны на хорьков. На коллоквиумах по истории, коллективных толковищах, они сбивались в стай и набрасывались на труп упавшего льва. Кто только не клевал умершего Вождя...

Косте было невыносимо слушать такое! Направляли хорьков и соек кудловатые тетки-преподавательницы, Костя называл их росомахами. Росомаха, обжора, идет на падаль... Доценты и профессура истфака, где учился Костя, многие из них — вчерашние фронтовики, пугливо поджимали хвосты и на прямые вопросы студента-переростка Яркова: «А что же происходит с теорией и практикой обострения классово-борьбы по мере победы социализма?!» — отвечали уклончиво. Дескать, классовую борьбу никто не отменял. Но средства не всегда оправдывают цель.

«Опущенные волки», — думал про них Костя. Подранных и побитых волков он встречал в ургальской тайге. Они скалились издали, но боялись подходить к человеку со стволом в руках. Не зря у эков существовало ругательство *волки позорные*. И вся свора, которую Костя сравнивал с пакостным зверьем, навалилась на Сталина. Еще вчера они славили Иосифа Виссарионовича. Ведь нельзя же было не славить! А сегодня со сладострастием слушали малолеток, рассуждающих о перегибах на местах и об очищении партии.

Берию уже расстреляли. Пели частушку: «Берия, Берия — вышел из доверия! А товарищ Маленков надавал ему пинков».

Антисоветская пропаганда. Та же пятьдесят восьмая статья, пункт десять.

Бывший почттарь на лагпункте женского портала дядя Коля Бородин, а теперь смотритель водомерного поста на Бурее — Костя приезжал к нему на тайменную рыбалку, — как-то задумчиво спросил вечером, у костерка: «Костя, ты не знаешь? По радио все про какой-то *куль* талдычат... Вроде как Сталин его коммуниздил».

Анекдот!

Костя коротко хохотнул.

У дяди Коли было три класса образования начальной школы. Но бабские посылки на Дуссе-Алине он шмонал ловко. В накладе не оставались ни зэчки, ни их начальницы. И себя, конечно, он не обижал. Косте, как земляку, тоже перепало. Такие были понятия. *Бердычом* надо делиться каждому.

Кто этот бердыч (посылку с воли) получает. В посылках колбаса копченая, сало и печенье, носки теплые, вязанные из козьего пуха.

Костя институт бросил и как-то сразу отчаянно забомжевал. Кантовался то на речных баржах и дебаркадерах, то на железнодорожном вокзале. Там легко было затеряться среди пассажиров. Связался с блатными и попрошайками-инвалидами на каталках. Их звали самоварами. Торговали порнографическими открытками и краплеными картами. Они-то и свели Костю с главным самоваром Комсомольска, Мыколой-бандеровцем, Николаем Степановичем Гринько.

Говорили, что Мыкола, безногий, *ушел на рывок* — сбежал из лагеря. Собрал местных золотушников-старателей в артель «Амгунь». Костя пришел к Мыколе устраиваться на работу начальником охраны. Мыкола оказался *нотный*. То есть опытный и знающий. Посмотрел на Костю пристально глазками-буравчиками.

Словно прострелил насквозь.

И задал единственный вопрос: «Вертухай?»

Костя напрягся. Ну что они все — сговорились, что ли?

«Я снайпер!»

Мыкола прищурился:

«Не ты ли, милоч, гонял нас по Солоням?! Трех корешков моих положил — Захарку, Писателя и Смотрителя путей. И бабешку одну — Зину, портниху».

Костя вздрогнул.

...Через год службы в Управлении Бамлагом его срочно отправили в командировку на Дуссе-Алинь. Там группа опытных зэков-паханов, так пояснили, когда ставили задачу, очень умно сбежала. Устроили шухер и погоню направили по ложному следу.

А сами ушли в сторону Ургала.

Костя летел из Свободного на «Аннушке». В дороге все продумал и вызвался догнать. Попросил коня и снайперскую винтовку. Начальник лагпункта, майор, усмехнулся: «Разве *паркетные* бандитов ловят?» Офицеров, служащих в Управлении, конвойные и вохра называли паркетными.

Четверых он тогда завалил. А двое, сам видел, ушли.

Поперву с Мыколой они не договорились.

Костя вернулся на вокзал. Там его приютил Апостол — поп такой, очень ласковый. Расстрига, кажется. Звали его отец Климент. Вроде бы тоже мотал срок, сначала на станции Известковой, потом на стройке 500. Апостол выправлял бывшим заключенным справки, покупал прописку и устраивал на работу. Костя помогал Клименту в церкви, вроде как староста... Сам себе не мог поверить: Костя Ярков — церковный служка!

Коммунист и капитан МВД.

Апостол знал Костину историю. И наставлял Яркова молиться. Костя молиться не хотел. Не видел в молитве смысла. Произносишь какие-то непонятные слова

и — что? Ничего не происходит и ничего не меняется. Апостол говорил: «Молиться надо не словами, а душой!»

Но не объяснил подробности. Как это, молиться душой?

Напившись, Костя высказывал в зал ожидания и громко командовал: «Вы поступаете в распоряжение конвоя! Оружие — к бою! Дослать патрон! Стреляю без предупреждения... Шаг влево, шаг вправо — попытка к побегу! Порядок на зоне!»

Собирались на колясках самовары, смеялись над Костей, бросали в него чурбачки, обшитые кирзой. Чурбачками они отталкивались от асфальта. Появлялся наряд милиции. Костю забирали в отделение, но вскоре отпускали: «Товарищ капитан запаса, вы ведь заслуженный человек. И такое творите!»

В чемоданчике-балетке Костя носил ордена и медали. Они там побрякивали. Хранил всякие справки и наградные документы. Во время любой пьянки балетка стояла рядом. Так верная собака лежит у ног.

Очень жалел, что не отрыл с родительского огорода и не взял с собою пистолет. Всех бы перестрелял.

Потом Гринько Мыкола все-таки взял Костю в охранники. Охранять нужно было не только его самого, председателя артели, но уже и золото. Костя съездил на Ургал, отрыл за родительским домом свой фронтальной пистолет. Недолго лежал в земле. Не заржавел, и предохранитель тогда еще не сбился.

Стояли на ручье Большой Йорик, далеко на север от Чегдомына. Прииск открыли заново, назвали Йориковским. Вот тогда Костя и пристрастился к старательскому лотку. В любую свободную минуту бежал на ручей. Во все глаза смотрел, когда на дне лотка заблестят золотые крупинки.

Страсть к золоту оказалась тяжелее запоев.

Она была сравнима со страстью к женщине.

Апостол сокрушался: «Ты болен. Душою болен. Уходи, один, в тайгу. Там горами и снегом надышишься. Сердцем отойдешь. Иначе сопьешься, или тебя убьют. За золото. Такие же, как ты сам!»

Через Мыколу отец Климент устроил Костю истопником. Всякий раз, уходя на работу — в тоннель, Костя брал с собой парабеллум. Не знал, зачем? Такая привычка осталась от офицерства.

За год ведь здесь ни души не встретишь. Броди не броди по тайге, кричи не кричи. А зимой даже местные птицы-дальневосточницы, что не улетают на юг, прячутся в дальних распадках и в расщелинах скал. Недавно приезжал на дрезине обходчик с Ургала — привез сухари, муку и сахар. И рассказал Косте, что мерзлотную станцию у западного портала собираются расконсервировать. То есть запустить заново.

Наверное, продолжают строить дорогу и станцию.

Значит, скоро здесь снова появятся люди.

Важная новость. Он ведь убежал от людей.

Накануне, складывая поленицу дровишек у крыльца, Костя учуял запах дыма. Тянуло ветерком с дальнего портала. Сначала он думал, что пахнет головешками большого костровища. Каждое утро с двух концов он протапливал тоннель. Но тут же заметил, что Кучум, его ургальская лайка — помесь волка с собакой, тоже ведет себя настороженно. Крутится под ногами, уши ставит домиками и, подняв голову, нюхает воздух.

Кучум достался ему щенком в наследство от отца-охотника.

— Кого учуял, старший лейтенант? — спросил Костя и потрепал Кучума по холке. Ладонью почувствовал, что шерсть на загривке у кобеля вздыбилась и пошла волною поверх ошейника. Ошейник у собаки был особенный. Костя сам его

сделал из широкого ремня. Ближе к застежке прикрепил три ромбика, сняв со старой гимнастерки. Потому, стало быть, и старший лейтенант. Может, Костя так сам над собой иронизировал?!

Рассвет тронул розовым вершину хребта. Костя увидел, что уступы бетонного портала тоннеля тоже покрылись белыми узорами. Оттепель. Весенние циклоны приходили издалека, с Охотского побережья.

Метеорологи Ургальской станции говорили, что циклоны зарождаются в предгорье Джугджурского хребта, более протяженного и мощного, чем Дуссе-Алинь, проходят амурскими долинами, упираются в Сикачи-Алян и только потом, окрепнув в пути, поворачивают и со страшной силой обрушиваются на Дуссе-Алинь.

Пуржило три-четыре дня без остановки. Белая мгла накрывала тайгу, скалы, ручьи и лесогундру. Протяни собственную руку перед глазами — не увидишь в мареве. Кто-то стонал и ухал в ущелье, там, где уже ломала лед дикая река Черт. Раскачивались и скрипели над головами вековые кедры. Морока тому охотнику, кого весенняя непогода застанет на тропе. А нередко и беда. Нужно лепить из снега юрту, наподобие эскимосского и́глу, и пурговать несколько дней.

Костя заторопился, потому что сегодня решил развести костер и проверить поставленные в распадке на соболя петли. Потому и взял с собой охотничьи лыжи. И старательский лоток, не удержавшись, сунул в рюкзак. Понимал, что еще рановато. Сезон начинался в конце апреля — начале мая. На реке, по берегам, еще синели наледи, но таежные ручьи, впадавшие в Черт, уже шуршали камешками. Несли невидимые, но вожделенные золотинки.

И самородки они тоже перекатывали.

Косте не терпелось присесть на корточки где-нибудь в устье ручья, покачать осторожно лотком, смывая песок до тех пор, пока не обнажится шлих, мелкие черные зернышки. В шлихе золото. Дно у лотка шершавое, неровное. Таким его делают специально, чтобы золотинки цеплялись.

Сердце у Кости заходится...

Вот же они, вот!

Заблестели на дне лотка.

Надо спешить. Золото любит фартовых.

Но была и *зупинка*. Заусенец, который возникает на пальце. И болезненно цепляется всякий раз, что бы ты ни делал. Брал ли в руки плотницкий топор или нажимал на спусковой крючок ружья. Зупинка заключалась в том, что вернулся Костя не только к высоким отрогам, чистым ручьям и глубоким распадкам. И к самому белому, и к самому чистому в мире снегу.

Он вернулся к тоннелю, из которого всегда тянуло холодом.

Он вернулся к воспоминаниям.

К баракам, сторожевым вышкам и к видениям сгорбленных эзков.

С вороватыми глазами и скупыми движениями.

Вороватыми-вороватыми — какими же еще!

Только Сталинка, Говердовская, считала их невинно осужденными.

За что и поплатилась. А командир Бамлага, генерал Френкель, и сам Костя думали по-другому. Скупыми движения заключенных были потому, что опытный эк-сиделец бережет свое тело каждую минуту. Больше беречь его некому. Френкель сформулировал точно: «Любой заключенный нам нужен первые три месяца...»

На Дуссе-Алине эки жили подольше. Некоторые — по два-три года.

В студенческой жизни Костя оказался чужим. А там, у тоннеля, среди овчарок, багульника и колючей проволоки, он был свой.

И он был счастлив. Совсем недолго.

Там он встретился со Сталиной Говердовской.

Полюбил ее.

И потерял.

Эх-эх!

Если бы можно было вернуться назад.

Костин охотничий путик большой добычи не приносил. Но за нынешнюю зиму, небывало теплою и снежную, Костя добыл в кулемки с десяток искристых соболей. Искусство установки самоловов, петель и кулемок на зверька досталось ему тоже в наследство от отца. Как и охотничья собака.

За лагерные и городские годы Костя опыта не растерял. Не пропил его в кутежах по блат-хатам Города юности. Так красиво Комсомольск называли тогда в газетах. Для кого-то он был городом юности.

А для большинства — городом смерти.

А еще он торопился по другой причине.

Костя боялся рассветного часа. Когда в тяжелом сумраке он ступал на тропинку, ведущую к порталу, все чаще ему стало казаться, что эки шагают следом.

Они идут на огонь раздуваемого Костей костра. У эков всегда так. Где огонек, там и рай. И блатные, и политические костер называли одинаково, Ташкентом. Первыми шли доходяги, совали в пламя свои красные и скрюченные лапки со следами цыпок и чесотки между пальцами. Бригадиры подходили последними. Грубо расталкивали эков и садились к костру спиной. Грели натруженные кости. Костер — главное спасение для эка в промозглой тайге. Но и наряд не дремлет: «Занять рабочие места!»

Нет норматива сидения у костра.

Тут как совесть старшему наряда, сержанту, подскажет.

Костя сложил заранее нарубленную сухую щепу шалашиком, в основание сунул бересту. Потом пошли полешки покрупнее, а уже потом березовый швырок. Бревнышки такие, которые можно перекидывать одним броском.

Огонь весело сожрал щепу, перекинулся на поленья, затрещали березовые чурки. Да и ветерок помогал.

К утру он не стих и дул уже не набегами, как тундровый зверек.

Ровно, как из трубы, тянуло из глубокого распадка.

Костя спиной чувствовал — идут...

Четыре колонны эков появлялись каждое утро.

Одна от березовой рощи, где до сих пор виднелся черный шрам просеки. Там валили лес для пилорамы. Другие эки понуро брели с поляны. Той самой, где раскинулось кладбище. Ровные ряды колышек с затесями. На них химическим карандашом писали номера умерших.

Третья колонна тянулась из промзоны. Шагали бетонщики в почти окаменевших от цемента робах. Крупнотелые тетки-проходчицы, костистые и высокие, наползали по гребню сопки. Снегу наметало там почти по пояс. Казалось, что проходчицы ползут по снегу.

И, наконец, тачковозы скрипели тачками по мосткам от склонов сопки.

Там они набирали грунт для отсыпки трассы.

Шли на пламя Костиного костра.

Ну... Эки да эки. Сколько их Костя повидал на своем веку. Жалкие, сгорбленные, выражение лиц или настороженно-злое — эк всегда готов к тычку, окрику и удару — или скорбно-тупое. Мутный взгляд под ноги.

Эк редко смотрит в лицо конвоира.

Колонны объединяла одна странность, она пугала Костю.

Телогрейки и бушлаты у эков были... красного цвета!

Цвета крови.

Словно четыре кровавых ручья текли по склону сопки и впадали в тоннель. Оттенков красного было несколько. Бригадиры и нарядчики шагали в темно-алом, как будто бы бархатном. Цвета бордовых кулис в каком-то театре. Может, Большом — главном театре страны, который так любил товарищ Сталин.

Рядовые эски шли в кумачовых телогрейках. Словно лепестки маков, телогрейки трепетали на ветру полами. Эски, наверное, потому, что женщины, были одеты в малиновые бушлаты.

Цвет менялся, если Костя переводил свой взгляд с одной колонны на другую. Потом он внезапно догадался. У него же высокое давление! И потому так кровит в глазах. Но ничего не мог с собой поделать.

«И мальчики кровавые в глазах». Вспоминалось откуда-то, из тайников студенческой памяти. Только тут были не мальчики, а тетки и мужики. В бушлатах, подпоясанных веревками.

Костя слышал их шаги.

Все ближе и ближе.

Резко поворачивался.

Он надеялся, что видение пропадет.

Не пропадало.

Он видел лица эсков. Прозрачные и белые, словно картонные маски, выкрашенные белилами. Изморозью были покрыты их брови и ресницы. На шапках лежал снег. Некоторые эски кутались в грубые солдатские одеяла, подпоясанные обрывками веревок, ремнями и даже тонкой стальной проволокой. Костя понимал, что все они призраки, а не живые люди. Подкладывал и подкладывал поленья в пламя уже всю бушующего костра. Костя знал: чем скорее разгорится костер, тем быстрее пропадут видения.

Не дойдут они до портала.

Одна эска садится рядом, у костра, и тянет руки к пламени.

Она спрашивает:

— Как тебе живется без меня, Янков?

Это Сталина Говердовская.

Она гладит Костю по щеке. Он чувствует ледяной холод ее ладони.

Костя развязывает свой вещмешок, достает из потаенного уголка янтарные бусы и протягивает Сталине:

— Вот смотри, смотри... Я сохранил!

Озирается по сторонам.

На снегу лежат желтые бусы.

Никого. Ни колонн эсков в красных телогрейках, ни Сталины.

Только гудит пламя огромного костра.

Ветер затягивает его в жерло тоннеля.

Там притаилась вечная мерзлота.

Костя проверяет пистолет подмышкой, забрасывает рюкзак за плечи и скользит в сопку на широких лыжах, подбитых камусом.

У портала, на серо-розовом камне, стоит деревянная тачка. Колесом она вмурована в гранит. Памятник такой. Первостроителям Байкало-Амурской магистрали. Скульптор неизвестен. Памятник не комсомольцам-добровольцам семидесятых годов прошлого века, а эскам тридцатых.

Изменникам Родины и врагам народа.

Между ручками тачки-памятника висит цепь, похожая на кандалы каторжника. Эски приковывали себя к тачкам. Потому что единственный инструмент — тачку,

которая обеспечивала дневную выработку и хорошую пайку хлеба, ночью могли украсть другие зэки. Те, которые были заняты на вспомогательных работах и получали хлеба гораздо меньше тачковозов.

Знаменитое ноу-хау командира Бамлага, генерала Нафталия Ароновича Френкеля, главного прораба стройки: как потопаешь — так и полопаешь! Мотивация примитивная, но действенная. Когда нужно было рапортовать о досрочной проходке штолен или об отсыпке магистрали в рекордные сроки — к Седьмому ноября или там к Первому мая, нарядчики вешали на далеко вбитом впереди колышке красный кисет с табаком.

Или крепили алюминиевый бидончик со спиртом.

Махорка и водка на зоне всегда дороже денег.

Но не дороже свидания с Варюхой. И спорить нечего.

Варюха, по-зэковски, полюбовница.

Случка зэков и зэчек была в арсенале энкаведов на Дуссе-Алине как способ поощрения за ударную работу путеармейцев скального фронта. Так их тогда называли в многотиражках стройки. Путеармейцы скального фронта.

Слова зэк и энкавед в газетах того времени Костя не встречал. Да и энкаведэшниками их звали только в народе. И то — шепотом.

А красный кисет — как дойдешь, так покуришь.

А бидончик блестящий — как дойдешь, так выпьешь.

Если будет чем закусить. Да поймать на мушку хариуса в бешеном Черте — речка так в распадке, внизу у тоннеля, в каменном мешке бьется, — дело плевое! Был бы только крючок, сделанный из иголки. А можно еще из булавки.

Только правильно *опустить* жальце на огне. Вспоротый по хребту серебристый хариус с оранжевыми пятнышками по бокам, присыпанный сверху солью. Нет вкуснее закуски под спирт, разведенный водой из того же Черта.

А если еще и горбушка черного хлеба...

Хоть липкого и невкусного, как глина. Зэки его называют *кардиф*.

Много ли надо зэку! Он летом густо мажет лицо солидолом, чтобы мошка и комар не так жрали. А зимой дышит на контрольный термометр у ворот в промзону. Минус тридцать восемь! Надо бы сорок. Тогда дадут по куску горячего пирога с картошкой. И могут отменить лесоповал.

Молодой еще зэк, студент из Хабаровска по кличке Писатель, дует на столбик: «Поднимется!» Бывалый, бригадир фаланги бетонщиков, весь словно скрученный из мышц, ему отвечает: «Поднимется-поднимется... *Колымится!*»

Кружка горького, как отравы, пихтового настоя от цинги. Бочка стоит в коридоре каждого барака. И топают оба в строй, на утренний развод.

В бушлатах и в ватных штанах, с прожженными, от костра, дырами.

В чунях, сделанных из автомобильных покрышек. Бригадир, понятно, в старых, но все еще добротных валенках, подшитых дратвой.

На то он и *бугор*.

Все остальные в чунях. Такие резиновые лапти назывались *суррогатками*.

Они оставляли на снегу ребристый след.

Стоят зэки, сгорбились. Из чуней торчат клочки мха.

А молоденький Летеха (так и надо его называть, с большой буквы, потому что в киноромане Летеха — обобщенный образ офицера-лагерника, он — *начкар*) уже надрыается. Он творит *молитву* начальника караула:

«Внимание, заключенные! Вы поступаете в распоряжение конвоя! Разобраться под руку пятерками! Шаг влево, шаг вправо — считается побег! Оружие — к бою! Дослать патрон! Конвой применяет оружие без предупреждения! Нарядчики — ко мне! Оркестр — марш! П-шел!»

Самая любимая команда сторожевых овчарок. П-шел!

Пошли ээки.

Пошли...

После них на снегу остается автомобильная елочка шин.

Как будто огромная машина прошла своими колесами по зоне.

А может, и по всей ургальской тайге.

Бредут, как на похоронах.

Руки, по привычке, за спиной.

Лица замотаны тряпками.

Путеармейцы скального фронта.

Хрустит и каргавит снежок под ногами...

Вообще-то Летеху зовут Василий. С виду простой деревенский парень.

Но это только с виду. На самом деле он бериевский сокол-сапсан!

Голубая фуражка, синий кант. По околышу бликует звездочками иней. Фуражка-то, конечно, больше для форса. Сейчас прижмет морозец, и Летеха достанет из-за пазухи ушанку. Да ведь и ушанка у него особенная. Каракулевая. Отобрал у очкастого ханурика по кличке Писатель из Хабаровска. Того самого, что каждое утро дышит на термометр.

Урки не успели отобрать, а Летеха подсуетился.

На то ведь он и начкар!

Над центральными воротами лагеря висит плакат: «Труд в СССР есть дело чести, доблести и славы!» А чуть ниже, на широкой доске:

«Кто не был — тот будет! Кто был — не забудет!»

Прибили доску старые ээки-повторники — еще соловецкие, недобитые троцкисты. Начальство разрешило. А что?! Точнее ведь не скажешь.

Голосок лейтенанта ломается на утреннем морозе. И он дает петуха. Зато щеки офицера горят румянцем. А поди ж ты плохо! Летехе не грустно в овчинном полушубке, в серых новехоньких валенках и в своей каракулевой шапке. Почти кубанке. Начальник лагпункта недавно пообещал Летехе третий ромбик. Старлей. Не может быть, чтобы по пьяни болтнул!

Овчарка у ног Василия серо-седой масти. Скалится на людей, как будто смеется над убогими. А потом заходится в утробном лае. Кажется, овчарку сейчас вырвет. Вот как она ненавидит окружающих ее людей. Говоря по-лагерному, псинка *кинет харч*.

Овчарка натаскана на людей в бушлатах.

От них пахнет бараком.

Овчарки ненавидят запах барачков.

Ко всему привыкает человек на зоне.

К лаю сторожевых псов привыкнуть невозможно.

Харкают кровью на снег ээки-путеармейцы.

Кто-то из них — *тубик*, а кто-то болеет цингой.

Десны кровоточат.

Духовой оркестрик на разводе — две трубы, барабан и литавры. Выводит: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...»

Еще бы ему вольно не дышать, посланнику города Свободного!

Хрипят простуженные трубы, глухо и размерено бьет барабан.

Литавры предательски, по-стариковски, дребезжат.

Вот что видит Костя за тачкой на пьедестале.

Сколько раз по распоряжению *кума* тачку сковыривали ночью!

А наутро она возникала вновь. Вмурованная в гранит.

Но не кажется ли нам, что Костя засмотрелся картинками давно минувших дней. Минувших ли?! Контролер-сержант, хохол-дылда, уже горбатится, бренчит

ключами и открывает предзонник. В предзоннике догорает утренний костер конвоя. Грелись *вохрайки* перед службой... Надзиратели бегут с пачками картонных листов-формуляров в контору. Переключку эзков ведут строго по спискам. Недосчитаются одного-двух — начнут *шмонать* бараки.

Сегодня фаланги в полном составе пошли к тоннелю.

Нет давно никакого лагеря.

И костры вдоль магистрали погасли.

Все поросло бурьяном, подлеском, крепкими осинами и лиственницами. Лес в здешних местах растет быстро. В два раза быстрее, чем в самой России. Где-нибудь под Тверью. Деревья боятся вечной мерзлоты. Потому и торопятся пустить длинные и крепкие корни, чтобы уйти в рост и стать сильными. Чтобы никакая буря не вывернула их из земли.

Так же и здешние люди. Крепкие и кряжистые, жадные до жизни.

Сорокаградусные морозы выжимали из скал студеную воду. Прямо из гранита выжимали. Весной цвел багульник, в реке бился таймень, а по бетонным уступам порталов скакали белки.

Прекрасно Косте Яркову, одному, жилось на Дуссе-Алине!

Отец как-то сказал ему: «У нас тут не Дальний Восток, а Дальний Восторг!» Только теперь Костя оценил слова Яркова-старшего. Утром выходишь на улицу, а столб дыма из трубы подпирает небо. Последняя звезда еще не закатилась и не погасла. Но уже кричат в распадках сойки. И носатый лось бредет к ручью на водопой, кося влажным глазом. В глазу отражаются дальние гольцы с белыми шапками снега, который не тает даже летом. На портале тоннеля снуют по бетонным уступам бурундуки. Белка смешно, как маленький человечек, обеими лапками несет стланиковую шишку. Они не боятся Костю. Потому что они видят его каждое утро. И, наверное, принимают за своего. Или за часть окружающего мира.

А еще ручьи...

Конечно же, ручьи добавляли таежного счастья!

Везде, по распадкам и у скальных прижимов, заливаются в горловом клетоте, как соловьи, хрустальные потоки. Душу твою охватывает восторг.

Костя ловил соболей, разводил костры, химическим карандашом писал о стройке 500. Получалось не очень складно. Как было дело по правде — не скажешь. А присыпать глубокие следы выпавшим легким снежком... Пустое занятие! Темные проталины на весенней реке не спрячешь. Ледоход их унесет. Разве что льдины разбросает по берегам.

Но потом и они растают. Ведь река — это жизнь.

И она течет по своим законам. Не по писательским.

Ему давно, во время службы на стройке, досталась незаконченная рукопись. Чужая. Досталась как бы в наследство от *крестника*, беглого эка по кличке Писатель. Доходяга и почти фитиль, Писатель кормился у блатных. По памяти, за горбушку хлеба и щепотку соли, пересказывал «Трех мушкетеров». Миледи, бикса излюбровая, воровала две алмазных подвески у герцога Бекингема, крутого пахана.

Или про Ромео с Джульеттой, про принца Гамлета. Бедный Йорик!

Так Писатель развлекал мастевых и порчаков.

Они книжек не читали, но любили слушать истории в лицах. Писатель изображал из себя шута, бедного Йорика. Истерично махал руками и кричал: «О! Я — бедный Йорик, шут короля!» Но никогда не изображал миледи. Считалось *вадлу* изображать женщину. То есть почти *знать сеанс*. После такой картинки могли запросто опустить в каптерке бригадира.

Так у Писателя появилась второе *погоняло*. Бедный Йорик.

Рукопись называлась «Истопник. Записки барачного придурка». Писателя Йорика Костя, конечно, положил. На уже талый снег в рощице, недалеко от разъезда, у речки Солони. Он его *покрестил*.

Так, ослабившись, как псы, говорят между собой офицеры в голубых фуражках. Когда хвастаются друг перед другом успехами в работе. Ээки называют службу в НКВД псарней.

А и пусть их! Зато за каждого положенного мордой в снег ээка начальство щедро плещет из котла довольствия НКВД приварок. Да не баланду с развалившейся хамсой, а хрустящие пятахатки. Посмотришь книгу приказов за месяц и диву даешься! Почти каждую неделю бегут ээки. И ничто не может их остановить. А вохра довольна! Пусть чаще бегут.

Глядишь, к лету на путевку в Крым наберется!

На худой конец, в Дом пограничника, под Владивостоком.

Не одного только Йорика Костя в тот раз покрестил. За что и получил именную грамоту Сталина. Тогда ушли живыми только двое. Может, Йорик тоже выжил. Костя успел на лошадке довести его, теряющего кровь, в Ургальский госпиталь.

Рукопись «Истопника» была спрятана, как в пенале, в черенке лопаты. Небольшую книжицу «Молитвенный щит» и пенал с тонкими, почти папиросными листочками Костя подобрал на месте ночевки беглецов. Почитал листочки. И ужаснулся! Ни одного светлого эпизода в записках не было. Все офицеры и надзиратели лагеря представлены как изуверы и садисты. Вот тогда он и решил написать сам.

Не мог, правда, понять одного. Почему не получается так складно, как в рукописи Йорика? А в школьные тетради Костя заносил цифры. Перепады здешних температур и глубины выпадающего снега. Он это делал для себя, понимая, что никому, кроме него самого, ни таежная статистика, ни воспоминания истопника не нужны. А вернуться, хоть на миг, в прошлое хочется все сильнее.

Только в сказке, да еще, пожалуй, в кино, время можно повернуть вспять. Костя, конечно, не знает многих литературных приемов. Может, поэтому и нескладно у него получается?!

Он не знает и о том, что в кинороманах используется флэшбэк — обратный кадр. Художественный прием, с помощью которого сюжет на время прервется, и зритель увидит прошлое героев.

Флэшбэк. Май 1945 года

Пламя костра Кости Яркова у восточного портала тоннеля трансформируется в пламя камина. Иосиф Виссарионович сидит на скамеечке, в темной комнате, на ближней даче. Сталин вообще любил сидеть у огня. Во время ссылки в Туруханский край, на Курейку, изнывая от безделья, он не уставал бегать на рыбалку и на охоту. Разводил костерки, часами мог смотреть на огонь.

Есть легенда о том, что однажды к нему в гости приехали шаманы Севера. Добирались из самых отдаленных уголков тундры. Даже с побережья океана мчались на оленях. Хотели просить совета у мудрого грузина. Хотя и совсем не старого еще.

Сталин велел тунгусам развести костер с высоким пламенем.

И только тогда он пришел к туземцам.

Они считали его белым шаманом... Неизвестно — правда или нет?

Иосиф Виссарионович держит на коленях тяжелую книгу. Ту самую, один экземпляр которой лежит на столе заимки Кости Яркова, истопника Дуссе-Алиньского тоннеля. Сегодня, перед заседанием Совнаркома, командир Бамлага генерал Френкель передал Сталину труд проектировщиков. Экземпляр № 1. Иосиф Висса-

рионович доволен. Оказывается, пока шла ожесточенная война, люди на Дальнем Востоке продолжали работать. Совершенно советские люди! Рубили просеки, составляли карты, рисовали схемы и чертежи новой дороги. Проектировали будущее.

Правда, в 1942 году пришлось снять уже проложенные рельсы на участках Бам — Тындинская и Ургал — Известковая. Соединительные с Транссибом ветки.

Рельсы пошли на Сталинградскую рокаду. Там они были тогда нужнее.

И вот поди ж ты! Работали! Герои! Мечтали о будущем страны, только что с победой вышедшей из Великой войны.

Иосиф Виссарионович уже почти что генералиссимус.

Через месяц ему присвоят высшее воинское звание.

Сталин с удовольствием нанизывает куски мяса на шампур.

Он любит сам жарить шашлыки на дышащих жаром углях камина.

А какой грузин не любит жарить шашлыки?!

Мы видим, как по рукам Сталина течет красно-розовый сок маринада. Никакой символики и никаких параллелей с кровавым режимом.

Просто Сталин жарит шашлык!

Угли становятся малиновыми.

Сталин хороший костровой.

«Хозяин должен был неотрывно следить за динамикой Священного огня — чтобы костер разгорался, но все-таки не сжег страну дотла», — пишет блистательный популяризатор истории Эдвард Радзинский в своей книге «Сталин».

Иосифа Виссарионовича он называет Хозяином.

Идут и идут составы на восток.

Мы видим лица сквозь зарешеченные окна. Они, окна, больше похожи на бойницы. Колонны эзков бредут по снегу. Опять лают псы. Картавит, по-ленински, снежок под ногами. И опять звонко кричит на морозе краснощекий Летеха. Ему нравится его служба.

А Сталин ведь не только костровой, он еще и настоящий кочегар социализма! Иосиф Виссарионович тоже истопник. Как и Костя Ярков. Только печки и дрова у них разные.

Вздымаются стройки социализма — Беломорканал, Днепротэс, БАМ. Укладываются рельсы.

Хор кубанских казаков и казачек танцует на сцене.

Жить становится лучше. Жить становится веселее.

Сталин подбрасывает в огонь новые полешки.

Камин, как и Костин костер, разгорается.

На экране возникает нарезка эпизодов подлинной жизни в сталинских лагерях строительства социализма.

Эпизод первый

Колонна женщин бредет по снегу. Этап охраняют солдаты с овчарками на поводу. Выходят на лед таежной реки. На пути возникает преграда. От морозов, прямо на излучке, образовалась наледь. Вода вперемешку с ледяной крошкой. Конвоиры замешкались и заметались.

Как провести этап по наледи?! А если промоины во льду?

В колонне эзек ропот: «Надо бы на привал встать, гражданин начальник конвоя! Костры разведем на берегу! Закоченели в дороге».

Начальник конвоя, уже знакомый нам краснощекий Летеха, командует: «Этап — на колени! Руки за голову!»

Он боится, что эзчки разбегутся. За это его самого расстреляют. Летеха дает очередь из автомата поверх голов. Женщины падают на колени, прямо в ледяное крошево. Конвойный посылает солдат разведать дорогу.

Один на один, с автоматом в руках, он стоит перед коленопреклоненным этапом. Летехе кажется, что он бог. И женщины сейчас ему молятся. А может, он видит себя Понтием Пилатом, судьей сына Божьего?! Если, конечно, он знает, кто такой Пилат. У ног лейтенанта сидит настороженная овчарка. Одной рукой Летеха треплет ее по ошетилившемуся загривку. И не спускает глаз с этапа. Понтий Пилат, прокуратор Иудеи, тоже любил гладить свою собаку, по прозвищу Банга, по голове. Успокаивало.

Резкий порыв ветра. Снег сечет лица.

Такое здесь, по весне, бывает.

Внезапно из глубокого ущелья налетает снежный заряд.

Словно сам черт плюется в лицо людям.

Женщины молятся.

А промоина расширяется. В горной реке, тем более на излучине, быстрое течение. Да и лед уже подтаял. Лейтенант видит, как боком, без крика, согбенная женская фигурка уходит под лед. Одна, вторая, третья...

Бог услышал их молитву.

Эпизод второй

Вереница заключенных катит тачки с грунтом. Они отсыпают тело магистрали. Так здесь, на стройке 500, называются земляные работы по прокладке будущей железной дороги.

Технология примитивная. Но уже проверенная годами. Прямо по болоту и марям проложены мосточки в две доски. У сопок рабочие-эзки нагружают тачки, а тачковозы по узким деревянным трапам везут щебень на трассу. Тянут с трудом. Дорога проложена между низеньких, карликовых здесь, лиственниц прямо к тоннелю. Он виднеется вдалеке.

Да что такое тоннель, если говорить по-простому, без инженерных чертежей?! Это дырка, пробитая эзками в угрюмой скале. Один тачковоз, сразу видно, что ослабевший, но еще не доходяга, загнулся на самом краю отсыпки, упал лицом в щебенку. А потом и покатился под насыпь. Другой эзк бросился ему помогать. Длинная вереница тачковозов встала. Сбился ритм доставки грунта в тело магистрали. Тачковозов много. Их сто или двести! А может, даже триста. Целая фаланга. Так генерал Френкель назвал одно из трудовых подразделений вверенной ему стройки. Название восходило к древнеримскому боевому строю.

Лейтенант выхватывает из кобуры пистолет и стреляет в воздух:

— Не нарушать строй! Продолжать отсыпку! Пристрелю!

Эзки вновь берутся за ручки тачек. Скрипят колеса, сыпется щебень. С сухим шуршанием мелкие и раздробленные камешки покрывают тело человека, бьющегося на откосе. Пока еще торчат плечи и голова, но вот взметнулась лишь одна рука. Грунт шевелится.

Лейтенант подскакивает на край обрыва, несколько раз стреляет в кучу щебня. Фонтанчиками взлетают каменные брызги. Уже никто не шевелится.

Длинноволосый и мослатый ээк в потрепанной шапочке-скуфейке, по виду бывший священник, крестится:

— Спасибо, гражданин начальник! Упокоил душу раба твоего...

— Какого еще моего?! — зло хрипит Летеха.

Ээк уточняет:

— Все мы рабы Божьи.

— Ты мне тут агитацию поповскую не разводи!

Патлатый послушно подхватывает тачку.

Ээки и охранники зовут его Апостолом.

А вообще-то он — отец Климент.

Ночами исповедует и причащает ээков.

Эпизод третий

Капитан-следователь проводит допрос заключенной. Чтобы она, распутная, призналась в содеянном. Арестантка никак не хочет подписать показания о своем сожительстве с иностранцем. То есть о сотрудничестве с буржуазией. Говоря юридическим языком, пятьдесят восьмая статья Уголовного Кодекса, четвертый пункт: «Оказание помощи международной буржуазии». Вместе с мужем-дипломатом работала секретарем-машинисткой в русском посольстве.

Контактировала с иностранцами и белоэмигрантским отребьем.

Муж уже сгинул где-то на этапах.

Настал и ее черед. Не признается вторую неделю.

Следователь-энкавед решает применить пытку детьми.

Была и такая в арсенале его ведомства.

На руках у заключенной ребенок-малютка.

Рядом стоит старший сын подследственной, ему лет десять. Двое подручных держат мальчишку за руки. Капитан ломает пацану пальцы. Перебивает кости тяжелой мраморной подставкой из письменного прибора. Два пальца уже сломаны. Мальчишка кричит так, что кажется, у матери лопнут в ушах перепонки. Капитан говорит заключенной:

— Если сломаешь мизинец ему... — тычет пальцем в малютку, — я обещаю отпустить твоего старшего! А потом начнешь давать показания.

Мать ломает пальчик младенцу и падает в обморок. Ее отливают водой.

Эпизод четвертый

Взбунтовались сразу несколько лагерных пунктов. В том числе и женбаракы. Женские баракы. Струсившая охрана разбежалась. Урки, блатные, мастевые, суки, политические — все объединились и встали плечом к плечу.

Создали Комиссию для самоуправления и переговоров с начальством. В Комиссию вошли авторитетный вор в законе и политическая — учительница, приговоренная к пятнадцати годам лишения свободы.

За сорок дней восстания — ни одного преступления. Справедливое распределение продуктов. В Комиссии даже работал отдел агитации и пропаганды. Заключенные-чеченцы придумали и запустили воздушные змеи. Над лагерем взметнулись призывы: «Мы требуем приезда члена Президиума ЦК!», «Спасите женщин и стариков от избиения!», «Долой убийц-бериевцев!», «Жены офицеров! Вам не стыдно быть женами убийц?!»

В проломы изгороди идут танки Т-34. Те самые, что брали Берлин. Зэки бросаются под гусеницы, внутренности людей наматываются на траки. Танки, подминая крылечки барачков, пробиваются в помещения, крушат нары, печки-буржуйки и столы. Люди жмутся вдоль стен...

Броня крепка, и танки наши быстры!

Женщины своими телами прикрывают мужчин, но их бьет штыками идущая следом за танками пехота. Танки стреляют по людям и зданиям из пушек. Догорают баррикады, траншеи и бараки. Вокруг валяются сотни раздавленных, обожженных, добитых штыками зэков. Ходит опер — лейтенант, вкладывает в руки убитых ножи. Суеглиивый фотограф делает снимки уничтоженных «вооруженных бандитов».

О бунте зэков в мае 1954 года в Кенгирском лагерном отделении вспоминал не только Солженицын. А сколько их было в Гулаге? И на Баме тоже.

Вора в законе, вошедшего в Комиссию самоуправления, звали Виктор Рябов. Учительница — Супрун Лидия Кондратьевна. Они погибли в схватке с солдатами полка особого назначения МВД, переброшенного из-под Куйбышева. Танки Т-34 оттуда же. Фамилия опера-provokatora — Беляев. В то утро он своей рукой застрелил десятка два повстанцев.

Некоторых добивал штыком.

О зверстве следователя, ломавшего пальцы детям при матери, написал профессор психиатрии Иван Солоневич. Он сбежал из Медвежьегорска (Карелия) в Финляндию. Статья называлась «Большевизм в свете психиатрии». Она была опубликована в Париже, в 1949 году, в девятом номере журнала «Возрождение».

Солоневич был врачом-психиатром — освидетельствовал надзирателей.

Сбежал, чтобы от откровений палачей самому не сойти с ума.

Как несчастная мать тех двоих, изуродованных, детей.

Не верьте тем историкам, которые утверждали, что Сталин не любил свою мать. И даже презирал ее. Он якобы всю жизнь подозревал ее в распутстве. Мать Иосифа, красивая грузинка Кеке, стирала одежду и прибиралась в домах богатых евреев городка Гори, где прошло детство вождя. Они ее нанимали прачкой. По некоторым версиям, за измену и торговлю собственным телом Кеке избивал ее муж, сапожник-пьяница Виссарион Иванович. По этой же причине, дескать, он бил и самого Иосифа, сына путешественника Пржевальского. Ходила и такая версия.

Все подобные предположения и домыслы в угоду антисталинистам. Установлено точно: в день зачатия Сталина Пржевальский находился далеко — на границе с Китаем. Это во-первых. Во-вторых, путешественник Пржевальский женщинами не интересовался. Так уж у него получилось.

Иосиф нежно и трепетно любил свою мать. Он писал ей письма. Правда, короткие. У Иосифа Виссарионовича всегда было много дел.

Знал ли Сталин, заботливый сын, о том, как истязали матерей и отцов в лагерях и тюрьмах, в социалистических застенках? Его братьев и сестер.

Как он назвал в знаменитой речи граждан своей страны.

И знал ли он вообще о тех пытках, которые применяли в Гулаге?

Вот один из главных вопросов во вновь разгорающихся спорах о сталинизме. Не тешьте себя иллюзиями. Он не только знал о них.

Сталин сам, не единожды, санкционировал физическую расправу.

На двадцатом съезде партии, где был развенчан культ личности Сталина, на вопрос, есть ли документы, подтверждающие официальное разрешение пыток, Хрущев ответил отрицательно. Накануне съезда Каганович утверждал, что есть постановление, где все расписались за то, чтобы пытать арестованных. Все — это члены Политбюро.

Хрущев ответил, что такой документ успели уничтожить. Но во многих обкомах и крайкомах партии, у начальников областных и краевых УНКВД сохранилась телеграмма за подписью Сталина от десятого января 1939 года. Наверное, Никита Сергеевич забыл про телеграмму на места: *«ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия в практику НКВД допущено с 1937 года с разрешения ЦК. Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие в отношении представителей пролетариата и притом применяют его в самых безобразных формах. Спрашивается: почему социалистическая разведка должна быть более гуманна в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и колхозников. ЦК ВКП (б) считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных и не разоружающихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод».*

Ремарка «в виде исключения» была забыта на местах сразу же.

Пятого октября 1945 года начальник Гулага Наседкин читает лекцию слушателям Высшей школы НКВД СССР: *«Уместно отметить еще один существенный момент, являющийся принципиальным отличием наших лагерей и колоний от лагерей других стран, где властвует полицейская дубинка и прочие атрибуты капиталистической «цивилизации». Это 7-ая статья ИТК РСФСР. Она гласит: «Труд, политико-воспитательная работа, режим и система льгот во всех исправительно-трудовых учреждениях строятся исходя из основных задач исправительно-трудовой политики пролетарского государства и не могут сопровождаться ни причинением физических страданий, ни унижением человеческого достоинства!»*

Неожиданно звучит вопрос из зала:

— Какие меры дисциплинарных взысканий применяются для нарушителей трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка?

Ответ Наседкина (критики режима утверждают, что он его злобно прокудахтал): *«Эти меры: замечание, выговор, возмещение причиненного ущерба, лишение свиданий, перевод на штрафной режим и карцер. Но все это должно исправлять человека, принуждать его к полезному труду, а не обессиливать, не толкать на путь дальнейшего саботажа и борьбы с советской властью!»*

Чудовищная ложь.

Впечатляют замечание и выговор.

Младший лейтенант, задавший исторический вопрос, был немедленно исключен из Высшей школы НКВД. Вы никогда не узнаете его дальнейшую судьбу. Дай-то бог, если его только исключили. А не толкнули на «путь саботажа и борьбы с советской властью».

История не сохранила его фамилии.

Возвращаемся к Дуссе-Алиньскому тоннелю.

Ведь мы еще почти ничего не знаем о нем.

Дуссе-Алинь — одна из самых главных и самых страшных тайн Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

Флэшбэк. Май 1945 года. Дуссе-Алиньский тоннель

Идет поезд!

Но такого ведь быть не может?

Откуда поезд?

Так бывает в кино. Герои не только видят свое прошлое. Операторы, как уже замечено выше, волшебники-бестии с чудо-камерами в руках, показывают зрителям картины будущего. Да и поклонники неореализма не сильно отстают от них. То они предлагают послушать песни, которых герои еще не знают, а вот теперь услышат, удивятся и обрадуются.

А то запустят поезд из весны 1977 года в май сорок пятого.

Они переносят своих героев как песню через годы, через расстояния!

Именно это сейчас и происходит на экране.

Креативная визуализация — вот как называется умение видеть будущие события. Герои должны как бы предчувствовать грядущее время.

И сейчас они его предчувствуют. Потому что страшна и нелепа та жизнь, которая существует возле тоннеля.

Но человек-то должен родиться для радости!

Он должен верить в то, что будущее будет другим.

И оно будет прекрасным! Обязательно будет...

Все еще аукнется и все еще срифмуется.

И можжевельный куст, и Летеха на разводе.

И чуть живое подобье улыбки твоей.

Чуть живое.

К жертвам придет прозрение, к палачам — расплата.

Все равно придет.

Как бы люди, похожие на Сталина, не прятали от нас свои страшные архивы.

В 1988 году, восьмого июня, тогдашний председатель КГБ Чебриков направил в ЦК КПСС телеграмму, которая называлась «Об использовании архивов органов госбезопасности». Виктор Михайлович писал: *«Ограничение доступа к секретным архивам диктуется необходимостью противостоять соответствующим устремлениям спецслужб противника, зарубежных центров, а также антисоветских элементов внутри страны... Открытое опубликование сведений по материалам архивных дел на реабилитированных, цитирование отдельных документов из них может создавать негативное представление о личности самих реабилитированных лишь только потому, что они в период следствия и в суде оговорили себя и других лиц, разделивших их участь. Те или иные факты, став широко известными, могут вызвать новые обращения граждан, в том числе с требованием привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, причастных к расследованию и рассмотрению в суде какого-либо дела... многие из которых живы и не могут быть признаны виновными».*

Двадцать второго сентября 1988 года Политбюро наложило резолюцию: «Принято решение согласиться». Прошло тридцать лет. Никакого Политбюро нет и в помине! Решение никто не отменил.

Хоть одного признали виновным в пытках и издевательствах?

«Не могут быть признаны виновными». Чебриков.

Политбюро согласилось.

Ну а Ягода, Абакумов, Ежов, Берия, Меркулов до сих пор не реабилитированы.

Это такой же прием, как и флэшбэк.

Только теперь наши герои уходят не в прошлое, а приближают будущее.

В клубах пара и дыма летит паровоз.

Кажется, он просто изрыгает пламя!

На открытой площадке состава стоит фронтовик-гвардеец Костя Ярков. Он возвращается в родные края после войны. И после того, как год отвоевал в Прибалтике. Ловил там лесных братьев. Он их там просто отстреливал. Ведь Костя не только чалдон и аккордеонист, он еще и отличный снайпер.

Поезд на временном перроне у вокзала встречает толпа ликующих граждан. Зэков пока не видно. Сквозь нежную зелень Дуссе-Алиньских сопок просвечивают розовые поляны. Здесь на склонах есть такие, розово-фиолетовые, почти плоские, камни-плиты. А еще цветет багульник.

Пахнет сладко и душно.

Так, что у Кости, стоящего на открытой площадке, кругом идет голова.

Я почуял сквозь сон легкий запах смолы...

Ах, как давно он не был на родине!

Шахтерскую бронь у Кости сняли и призвали инструктором-стрелком в сорок третьем. Рельсы с БАМа тогда уже перебросили под Сталинград. Чегдомынские залежи угля были открыты, но комбинат только-только начинался. Костя тогда работал на строительстве шахт.

И охотился в ургальской тайге. Ловил в кулемки колонков и соболей. Добывал струю кабарги. Это у него от отца — знатного таежника. Ярковы белку из мелкашки били только в глаз. Попутно учил пацанов стрелять в досаафовском клубе. Кружки по стрельбе тогда открыли во всех школах. И поставили вышки для прыжков с парашютом. Учительская жилка в Косте тоже билась. А это уже от матери, Глафиры Ивановны — в девичестве Поликарповой. Она всю жизнь преподавала музыку и пение в деревенских семилетках. Тогда в школах еще пели. Глафира Ивановна сама играла на аккордеоне. И сына научила. Перед уходом на фронт Костя уже вовсю играл в поселковом клубе.

Война — войной, а субботние танцы по расписанию.

Как-то вечером возвращались домой. Никитка Кочетков, шустрый семиклассник — чернявый, тоже то ли из кержаков, то ли из чалдонов, спросил: «Константин Егорович! Вы так метко стреляете... А почему вы не на фронте?»

Костя как споткнулся. А правда — почему?

У кержаков (староверов) всех старших зовут на «вы».

На следующий день Костя явился в Ургальский военкомат. Мать плакала, конечно, а отец строго сказал: «Чалдон в бою не пропадет! А только первым в схватке будет!» После победы Костя еще целый год гонялся за злобными бандюками в Прибалтике. Смертники... Косте сказали: «Надо!» Так он попал в СМЕРШ.

На Косте парадная гимнастерка, че-шэ — чисто-шерстяная, новенькая портупья и офицерский ремень. Сапоги хромовые, гармошкой. Почти не скрипят при ходьбе. На груди гвардейский значок, солдатская медаль «За отвагу» и орден Красного Знамени.

Поезд, длинный смешной чудак, ползет по излучке таежного распадка. И к запаху багульника примешивается то ли запах тяжелой хвои, то ли тонкий аромат можжевельника.

Я увидел во сне можжевельный куст.

В то время эта строчка еще не была написана поэтом Заболоцким. Тоже зэком, сидевшим отсюда неподалеку. Мы уже упомянули об этом. Тут повторяемся лишь по одной причине: зритель должен чувствовать, как раскручивается пружина сюжета.

Работал Заболоцкий, как сам он писал в письме домой, архитектурным чертежником в ОЛП (отдельном лагерном пункте). Да и песню про чудаковатый поезд, длинный и смешной, напишут гораздо позже того времени, в котором сейчас находится наш герой, Костя Ярков. Но мы уже предупредили читателей о том, что будущее перемешается с прошлым наших героев.

А где-то и сон перейдет в явь.

Я услышал вдали металлический хруст.

Вот же он, хруст!

Неужели не слышите?!

Он под колесами поезда.

Состав как раз притормозил на повороте.

Костя достает из чемодана-футляра трофейный немецкий аккордеон. Перламутровый, с четырьмя регистрами. И начинает играть незнакомую ему мелодию. А внизу, в распадке, мы видим скальные расщелины вдоль берегов бурлящей речки Черт. Оператор фиксирует объектив и притормаживает его движение по кругу. И мы видим, как с длинной, похожей на язык, наледи — она нависла вдоль скального прижима — каплют крупные капли. Сначала ускоренная съемка. Профессионалы говорят — рапид. Потом, на контрасте, замедленная. Капля ударяется о поверхность спокойного здесь, на повороте, плеса, и вторая капля, уже из реки, стремится ей навстречу.

Удар, фонтан, круги по воде и...

Вторая капля, третья.

Все-таки какие они умельцы, операторы! То ли время показывают нам сейчас, то ли суровость здешних скал, холод льдов и голубизну вечной мерзлоты. А может, так капаят и проходят наши с вами года?

И Кости Яркова тоже.

Поезд вновь вырывается на простор магистрали и уже виден тоннель с барельефом Сталина-Ленина. Дату строительства тоннеля пока еще не срубили с портала. Поезд, между прочим, знатный. Кабина машиниста украшена красными флагами, зеленой гирляндой, сплетенной из пихты. Здешняя пихта пушистей даже голубых кремлевских елей. А в центре, на самом рыльце локомотива, висит портрет Иосифа Виссарионовича Сталина. Совсем не гуталинщика, как иронизируют несознательные зэки, а нашего отца. Отца народов огромной страны. Костя в этом уверен. На красном кумаче портала тоннеля, тоже убранного в зеленый лапник, лозунг: «Ура победителям социалистического соревнования, досрочно завершившим проходку тоннеля! Слава путеармейцам скального фронта!»

Дуссе-Алинь встречает свой первый поезд.

Потому и праздник.

Здесь мы, вполне осознанно, отходим от буквализтики дат.

То есть, как тот Летеха на морозе, даем петуха.

Но — не сильно. *Слегонца*, как говорят на зоне.

Да и сами историки путаются. По одним сведениям строительство тоннеля началось в 1939 году. По другим — к проходке приступили первого мая 1940 года. Наверное, год строили бараки и поселки тоннельщиков, оплетали лагпункты колочей проволокой и возводили вышки для охраны. За год работы непосредственно на штольнях женщины со стороны Западного портала прошли триста одиннадцать погонных метров. Мужики с Восточного крыла — только двести.

Забегая вперед, хотелось бы заметить, что женщины на проходке тоннеля все время работали лучше мужчин. Цифры подтверждают. То ли порода с восточной стороны была тверже, то ли ээки оказались слабее ээчек... Народным комиссариатом внутренних дел ставилась задача: первого мая 1942 года прозвести сбойку тоннеля. К декабрю того же года открыть рабочее движение. В марте сорок третьего сдать тоннель в постоянную эксплуатацию.

Но в мае 1942 года приказом ГКО СССР строительство Дуссе-Алиньского тоннеля законсервировали. На стройке оставили сто пятьдесят ээков и тридцать пять охранников.

Всех остальных перебросили на строительство Сталинградской рокады. Начальника отряда тоннельщиков Максимилиана Рацбаума, классного специалиста, тоже откомандировали под Сталинград. В декабре сорок пятого Совмин СССР принял решение о продолжении строительства БАМа. Не зря Сталин сидел с проектом БАМа, замечательной книжкой из Владивостока, у камина на своей ближней даче. На Дуссе-Алинь вернулись строители. И сам Рацбаум вернулся. Весной 1946 года Костя Яркв едет в родные края.

Вроде бы почти все совпадает.

Извините, правда, за обилие дат и цифр.

Они часто нам так же необходимы, как и песня про можжевельный куст.

Максимилиан Рацбаум вспоминает: *«За 23 месяца чистой работы мы прошли более 1800 метров и сбойку штолен дали на два месяца раньше срока, назначенного народным комиссаром. (Расхождение по оси, между прочим, было всего 20 сантиметров. А ведь рубили на глазок, то есть по рабочим чертежам.) Три дня и три ночи оба лагерных пункта отдыхали».*

То есть ночь любви уже состоялась?

Стоп!

Здесь мы должны остановить бег нашего пера.

А точнее — стук клавиатуры.

Вот и вагоны больше не стучат на стыках новеньких рельсов.

Между прочим, рельсах американского проката.

Продолжение в следующем номере.

